

№ 2 е. 2

ЛИТЕРАТУРНЫЕ БЕСЕДЫ.

Конспектированное творчество.

От итается тому назад, говоря о рассказе „Человек в футляре“, мы указали на фотографичность письма г. Чехова, как на существенный недостаток этого талантливого автора. Тут же мы подчеркивали все великое мастерство, с которым автор пишет о маленьких рассказах, и те неудачи, которые его преследуют, когда он берет за вещь, крупная по объему и содержанию. Приступая к чтению двух новых прозаических произведений г. Чехова („Русская Мысль“, № 8, 1898), мы заранее предвещали эстетическое удовольствие, рассчитывая на которое больше читатель привык к произведениям нашего автора. Нам постигло горькое разочарование, обидное тем более, что оно было столь неожиданным. Судите, впрочем, сами.

Новые рассказы г. Чехова („Крыжовник“ и „О любви“) преждевременно ведутся не от лица самого писателя, а вложены в уста действующих лиц, тех же ветеринара и учителя гимназии, которые беседуют и в „Человеке в футляре“, и еще их приятели, помещика Алексея. Такой прием — передать речь одному из описываемых персонажей вместо того, чтобы лично держать ее — представляет, впрочем, некоторые удобства для автора: когда повествование обрывно, передаваемые поступки не мотивированы, изображаемые лица безжизненны, — писатель всю явную и скрытую пошлость и сваливает на индивидуальность свойства — вялость, грубость, неразвитость и т. п. — тех людей, от чьего имени идет рассказ. Рассказывает, напр., одичавший в деревне помещик хотя бы, скажем, о любви: рассказ его из рук вовсе плох. Но можно ли ждать лучшего от человека, который чуть ли не потерял образ человеческого? Вот если бы повествовал сам, от первого лица, сам г. Чехов, тогда другое дело: тут мы потребовали бы сличения писем, и глубинный психологический анализ, и выразительного простого языка, и мало ли еще чего, что помогло бы обаять дать талант. А что имеет с умным помещиком или обиженым Богом и людьми неудачником — гимназического учителя? Спасибо за все, что только могут они сообщить. Да, в этом приеме есть несомненно выгоды.

Есть, однако же, и очень серьезные неудобства: когда мы читаем беллетристическое произведение, в котором один из героев присутствует, а остальные спорят с ним или соглашаются и, в свою очередь, разлагают истинные положения, пытаются доказывать их тем или другим иллюстрациями из новейшей жизни, то мы в правду ждем, чтобы каждый из собеседников думал на свой

особенный лад, говорил своим особенным, лично ему принадлежащим, языком, спорил на другой, тем же остальным, манером, как это всегда видим мы в действительности. Такая задача, вытекающая из самого существа дела, отнюдь не может быть названа легкой: ее выполнение поддаться только крупнейшим мастерам слова. В громадном большинстве случаев выводимые авторами лица далеко не блещут разнообразием своих духовных особенностей, в частности — приемом речи и мышления: за спинами героев мы отчетливо видим ниточку, которую держит автор, вкладывая в уста героев те или другие рассуждения. Этого подводного камня не сумели обойти и г. Чехов: его персонажи в речах своих совершенно не индивидуализированы, — видно, что мы слышим все время лишь одно лицо, самого автора. А разве не странно рассказывать вслух самому себе, соглашаться и спорить с самим собой?

Таким образом, мы никак не можем приветствовать нового приема письма г. Чехова: его рассказы удавались гораздо больше, когда автор повествовал исключительно от первого лица („Скучная история“, „Моя жизнь“ и т. д.), или же выводимые лица действовали сами вместо того, чтобы обитывать больше или меньше забавными историями. В неудачной форме, к которой прибегнул теперь г. Чехов, нельзя еще будет увидеть тяжкого проступка с его стороны, если под ней мы увидим богатое и прекрасное содержание: под неказистой внешностью часто скрывается замечательное внутреннее богатство, искупающее и оправдывающее все. Познакомимся же теперь с новыми творениями А. П. Чехова.

У учителя гимназии, Ивана Ивановича Чипича-Гималайского, был брат, Николай Иванович, служивший в какой-то канцелярии неким чиновником. Целые годы мечтал о том, как современем он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и хмель. Сельско-хозяйственные книжки и всякие эти софиты и календары составляли его радость, любимую духовную пищу; он любил читать и газеты, но читал из них один только объявление о том, что продаются столько то десятин пашни и лука с усадьбой, речкой, садом, мельницей, с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки из сада, цветы, фрукты, скворешки, карсы в прудах, и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлению, которая попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни

одного поэтического уголка он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника.

— Деревенская жизнь имеет свои удобства, — говорил он бывало. — Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруду твои уточки плавают, пахнет так хорошо и... и крыжовник растет.

Он чертил план своего имения и всякий раз у него на плане выходило одно и то же: а) барский дом, б) людская, в) огорох, г) крыжовник. Жил он скупо; не добывал, не допивал, одевался Бог знает как, словно нищий, и все кончил в банк. Жданничать строго, женился на старухе с тем, чтобы воспользоваться ее деньгами для покупки имения, держал жену в таком черном теле, что та вскорь умерла едва ли не с голодовки и, наконец, носил ее смерти, приобрел себе столь долгожданную землю. В усадьбе, однако, не оказалось никакого крыжовника. Николай Иванович посадил крыжовник сам и ягодами первого сбора торжественно угощал, весь сияя от счастья, приехавшего погостить к нему брата. Этому последнему, при виде блаженства Николая Ивановича, приходило следующие мысли:

Как из сущности много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: чуждость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, круглая бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие, из пятидесяти тысяч живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмущен. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем спать, ночью спать, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников; но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно из жизни, происходит где-то за кулисами. Все тихо, спокойно, и протестует одна только истинная статистика: столько-то шума сошло, столько-то ведров вышито, столько-то детей погубило от недоедания... И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стучком, что есть несчастные, что как-то он не был счастлив, жизнь равно или поздно покажет ему когти, страсти бьда — болель, бедность, потери и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и моли житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину

—и все обстоит благополучно“.

Вот и вся фабула рассказа: один брат, самодовольно торжествуя, есть крыжовник, другой предается вышепринеденным разсуждениям и заканчивает их следующими словами: „не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя, делайте добро! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья путь и не должно его быть, а есть жизнь, и если она имеет смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разномысленном и великом. Есть жизнь, есть нравственный закон, высший для нас закон... Делайте добро!“

„Рассказ Ивана Ивановича, — меланхолично замечает г. Чехов, — не удовлетворил ни Буркина, ни Алексея“ (слушателей его); не может, — увы! — удовлетворить и нас.

Великая правда заключена в мысли г. Чехова о необходимости для всех довольных и счастливых людей иметь близки себя „человечка с молоточком“, стук которого напоминал-бы почаще нам о всех сиротах, убогих, униженных и оскорбленных. Таким „человечком с молоточком“ может выступить всего в мире в скорей талантливый и гуманный писатель, хотя-бы сам А. П. Чехов. Но призыв к добру, призыв к деланию доброй воли должен быть, если он идет от беллетриста, а не проповедника или публициста, облечен в образ. При чем крыжовник в рассказе под тем же наименованием? Заклочение о нашем долге по отношению к страждущим братьям, об обязанности не замыкаться в узкой рамке личного довольства и самодовольства, могло быть высказано рассказчиком и совершенно по другому поводу, без всякой связи с какими-бы то ни было крыжовниками. Г. Чехову надлежало привести читателя к этому заключению, а не вложить эти мысли, в оформленном уже виде, в уста одного из своих героев. В „Бедных людях“ Достоевского слышешь могучий зов на помощь ближнему. Как достигнуть этих поразительных результатов, — смягчения сердца и пробуждения деятельной любви, — великий автор „Мертвого дома“? Ни несчастного Макара Девушкина, ни „благодетельного“ его начальника, ни загнанную Вареньку он не заставляет произносить сентенций о том, что на свете есть „бедные люди“, что нужно любить и жалеть их. Нет! Такой прием, будучи глубоко антихудожественным, отзывался-бы фальшью, которой так чуждался Ф. М. Достоевский: он правдиво, с потрясающею силой, раскрывает нам души своих героев, их бытие, все пытки болезненно скрываемою и терпеливо, чуть не с гордостью, несомой бедности. Такая картина говорить нашему чувству более, чем сотни самых возвышенных афоризмов. Нет что подобное должен был сделать и г. Чехов: хорошо написанный очерк

из жизни несчастных почему-либо людей, контраст их горя с животными удовольствиями окружающих счастливых, гораздо надежнее подтолкнул-бы читателя к деланию добра, чем сухая по формит, избитая по тем, размышления Ивана Ивановича.

После неудачного рассказа учителя гимназии о „Крыжовнике“, поэт Алексей начинает поведствовать „О любви“. (Ей, можно подумает, что г. Чехов задан мыслью написать русский Декамерон: он, как и Боккаччо, заставляет нескольких лиц обитиваться меж собою повестушками на самых разнообразных темах). Как заражается любовь, поскольку в любви важны вопросы личного счастья — все это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что тайна сия велика есть, — все-же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопроса, которые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое казалось, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, а самое лучшее, по-моему, — это объяснить каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщить. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай. С целью такой индивидуализации, Алексей и рассказывает о собственной любви. Он любит „пламенно и тяжело“ одну замужнюю женщину. Повидимому, та отвечала ему такую-же любовь, но оба таили свои чувства про себя. „Я любил, — говорит Алексей, — глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невротичным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любил и где мне так влило. Честно-ли это? Она пошла-бы за мной, но куда? Куда-бы я мог увести ее? Другое дело, если-бы у меня была красивая, интересная жизнь, если-бы я, например, боролся за освобождение родины, или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось-бы увлечь ее в такую-же, или еще более будничную. И как-бы долго продолжалось наше счастье? Что было-бы с ней в случае моей болезни, смерти, или, просто, если-бы мы разлюбили друг друга?“

Одним словом, в Алексее мы видим старую, давно знакомую фигуру: не то Гамлета из национальной нашей подкладки, не то Обломов, не то, попросту, типичного нытика. Женщина, которую он любил, рассуждала подобным-же образом: „она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа, как сына. Если-бы она отдалась своему чув-

ству, то пришлось-бы лгать, или говорить правду, а в ее положении то и другое было-бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос: принесет-ли мне (Алексию, счастье ее любви? Не осложнит-ли она моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий?“

Время шло да шло и, наконец, мужа дамы, в которую был влюблен Алексей, перевели на службу в другой город. Усадив героиню своего романа в купе вагона, Алексей случайно остался с нею несколько минут наедине. „Когда тут взгляды наши встретились, душевные силы охватили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрая от слез, — о, как мы были с ней несчастны! — я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как не нужно, мелко и обманчиво было все то, что нам мнилось любить. Я понял, что когда любишь, то в своих разсуждениях об этой любви нужно исходить с высшего, с более важного, чем счастье, или несчастье, грех или добродетель в них ходячий смысл, или не нужно разсуждать вовсе“. После этого Алексей уже ни разу не встречался с предметом своей любви.

И в этом рассказе нас снова поражает вся важность, вся красота его основного замысла. Имел-ли право чеховцы жертвовать счастьем всей семьи во имя личного счастья? Если он имеет это право, то в каких случаях, на каких моральных или логических основаниях? Если не имеет и не в силах бороться с незаконной любовью, то что-же ему делать? Как серьезны эти вопросы, как часто сталкиваемся мы с ними в нашей жизни. Но вместо посылного, прямого ответа г. Чехов ходит вокруг да около: он ставит загадки нам, но не считает себя обязанным помочь в их разрешении.

Года два тому назад „Русь“ В. П. Гайдебурова извещала, что А. П. Чехов попробует себя на ее страницах в новом для него роде писательства, в публицистическом. Пробы этой, к счастью, тогда произведено не было. Говорю, „к счастью“, потому что грешно было-бы г. Чехову закарпывать в землю свой несомненный художественный талант, в лучшем случае, развешивать его на дешевые лавры публицистики. Если-бы из созерцателей современной жизни г. Чехов перешел в ряды ее учителей, у нас стало-бы одним даровитым беллетристом меньше и одним посредственным публицистом больше, но первых у нас и так слишком мало, а вторых более чем достаточно. Мне не на шутку пугает мысль, что г. Чехов пойдет по стопам В. Г. Короленко, перестав служить искусству, как таковому,

начать увлекаться злобами дня и нить толкованіемъ.

Въ разобранныхъ нами рассказахъ „Крыжовникъ“ и „О любви“ я вижу достаточно пищи для этихъ опасеній: здѣсь нѣтъ ни типовъ, ни образовъ, ни положеній, нѣтъ почти самой фабулы. Въ уста действующихъ лицъ вложены тутъ какія то выдержки изъ публицистическихъ статей, пристегнутыя къ каждому нато-нальски подходящему, а то и вовсе неподходящему случаю. Дальнѣйшія произведенія г. Чехова покажутъ, нѣтъ-ли имъ опасенія реальную почву подъ собою, но теперешнее его творчество, въ своемъ настоящемъ видѣ, безошибочно можетъ быть охарактеризовано, какъ „конспективное“. Намъ авторъ не пишетъ уже повѣстей или рассказовъ; онъ пишетъ только конспекты. Онъ не находитъ теперь нужнымъ характеризовать выводимаго тутъ лица, заботиться объ ихъ жизненности, житейской правдоподобности, естественности и логичности развязки передаваемыхъ имъ сценъ; онъ не рисуетъ даже намъ, наконецъ, и сценъ, а пользуясь первыми помощами, или глѣтъ, что ему кажется поводомъ, сообщаетъ намъ свои афоризмы. Г. Чеховъ даетъ намъ канву и проситъ вышивать по ней, какъ намъ угодно. И „Человѣкъ въ футлярѣ“, и „Крыжовникъ“, и „О любви“—это только конспекты рассказовъ, въ родѣ тѣхъ, которые показывались издателямъ, чтобы вкратцѣ ознакомить ихъ съ будущими законченными произведеніями. Правда, конспекты эти и умны, и содержательны. Но почему-же г. Чеховъ не написалъ всѣхъ своихъ рассказовъ? Почему онъ знакомитъ съ ними публику, вѣсто того чтобы обратить ихъ въ органически стройныя, цѣльныя, завершенныя созданія искусства? Почему?

Г. Чеховъ отнюдь не переживаетъ эту пору творчества, когда стоишь уже вепоколебиво на одномъ и томъ-же мѣстѣ; тѣмъ дальше отстоитъ онъ отъ возраста, когда идутъ уже вспать, катятся подъ гору. Мы ждемъ отъ него новыхъ и новыхъ шаговъ впередъ; но какъ-же объяснить теперешній конспективный характеръ его писанья? Неужели небрежностью отношеній къ публикѣ или, быть можетъ, къ своему дарованію? Не знаю, по совѣсти, что преступнѣе: пренебреженіе къ первой или ко второму. Но что здѣсь нѣтъ на лицо пренебреженіе или къ той, или къ другой, или къ обоимъ вѣстѣ,—это до боли ясно всякому, кто читаетъ г. Чехова прежняго г. Чехова, автора „Пестрыхъ рассказовъ“, „Въ сумеркахъ“ и т. д.

Тотъ Чеховъ былъ чуждъ конспективнаго творчества!

М. Олонецъ.